

(А. Толстой. Князь Серебряный.)

В огромной двусветной палате, между узорчатыми расписными столбами, стояли длинные столы в три ряда. В каждом ряду было по десяти столов, на каждом столе по двадцати приборов. Для царя, царевича и ближайших любимцев стояли особые столы в конце палаты. Гостям были приготовлены длинные скамьи, покрытые парчой и бархатом; государю — высокие резные кресла, убранные жемчужными и алмазными кистями. Два льва заменяли ножки кресел, а спинку образовал двуглавый орел, с поднятыми крыльями, золочёный и раскрашенный. В середине палаты стоял огромный четырёхугольный стол, с поставом из дубовых досок. Крепки были точеные столбы, на коих покоился стол: им надлежало поддерживать целую гору серебряной и золотой посуды. Тут были и тазы литые, которые четыре человека с трудом подняли бы за узорчатые ручки, и тяжелые ковши и кубки, усыпанные жемчугом, и блюда разных величин с чеканными узорами. Тут были и чары сердоликовые, и кружки из строфокимировых яиц, и туры рога, оправленные в золото. А между блюдами и ковшами стояли золотые кубки странного вида, представлявшие медведей, львов, петухов, павлинов, журавлей, единорогов и строфокимиров. И все эти тяжелые блюда, суды, ковши, чары, черпала, звери и птицы громоздились кверху клинообразным зданием, конец которого упирался почти в самый потолок.

Чинно вошла в палату блестящая толпа царедворцев и разместилась по скамьям. На столах в это время, кроме солонок, перечниц и уксусниц, не было никакой посуды, а из яств стояли только блюда холодного мяса на постном масле, соленые огурцы, сливы и кислое молоко в деревянных чашах.

Опричники уселись, но не начинали обеда, ожидая государя.

Вскоре стольники, попарно, вошли в палату и стали у царских кресел; за стольниками шествовали дворецкий и кравчий.

Наконец загремели трубы, зазвенели дворцовые колокола, и медленным шагом вошел сам царь Иван Васильевич.

Он был высок, строен и широкоплеч. Длинная парчовая одежда его, испещренная узорами, была окаймлена вдоль разреза и вокруг

подола жемчугом и дорогими камнями. Драгоценное перстяное ожерелье украшалось финифтевыми изображениями спасителя, богоматери, апостолов и пророков. Большой узорный крест висел у него на шее на золотой цепи. Высокие каблуки красных сафьяновых сапогов были окованы серебряными скобами. Страшную перемену увидел в Иоанне Никита Романович. Правильное лицо все еще было прекрасно; но черты обозначались резче: орлиный нос стал как-то круче; глаза горели мрачным огнем, и на челе явились морщины, которых не было прежде. Всего более поразили князя редкие волосы в бороде и усах. Иоанну было от роду тридцать пять лет; но ему казалось далеко за сорок. Выражение лица его совершенно изменилось. Так изменяется здание после пожара. Еще стоят хоромы, но украшения упали, мрачные окна глядят зловещим взором, и в пустых покоях поселилось недоброе.

Со всем тем, когда Иоанн взирал милостиво, взгляд его еще был привлекателен. Улыбка его очаровывала даже тех, которые хорошо его знали и гнушались его злодеяниями. С такою счастливою наружностью Иоанн соединял необыкновенный дар слова. Случалось, что люди добродетельные, слушая царя, убеждались в необходимости ужасных его мер и верили, пока он говорил, справедливости его казней.

С появлением Иоанна все встали и низко поклонились ему.

Царь медленно прошел между рядами столов до своего места, остановился и, окинув взором собрание, поклонился на все стороны, потом прочитал вслух длинную молитву, перекрестился, благословил трапезу и опустился в кресло. Все, кроме кравчего и шести стольников, последовали его примеру.

Множество слуг, в бархатных кафтанах фиалкового цвета, с золотым шитьем, стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились за кушаньем. Вскоре они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах.

Этим начался обед.

Никита Романович обратился с вопросом к своему соседу, одному из тех, с которыми он был знаком прежде:

— Кто этот отрок, что сидит по правую руку царя, такой бледный и пасмурный?

Это царевич Иоанн Иоаннович, — отвечал боярин и, оглянувшись по сторонам, прибавил шепотом: — помилуй нас, господи. Не в деда он пошел, а в батюшку, и не по младости исполнено его сердце свирепства; не будет нам утехи от его царствования.

— А этот молодой, черноглазый, в конце стола, с таким приветливым лицом? Черты его мне знакомы, но не припомню, где я его видел.

— Ты видел его, князь, лет пять тому назад, рындюю при дворе государя; только далеко ушел он с тех пор и далеко уйдет

еще; это Борис Федорович Годунов, любимый советник царский. Видишь, — продолжал боярин, понижая голос: — видишь возле него этого широкоплечего рыжего, что ни на кого не смотрит, а убирает себе лебеда, нахмура брови. Знаешь ли, кто это. Это Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, по прозванию Малюта. Он и друг и поплечник, и палач государев. Здесь же в монастыре, он сделан, прости господи, параклисиархом. Кажется, государь без него ни шагу; а скажи только слово Борис Федорович, так выйдет не по Малютину, а по Борисову.... А вон там, этот молоденький, словно красная девица, что царю наряжает вина, это Федор Алексеевич Басманов.

— Этот? — спросил Серебряный.

— Он самый. Уж как царь то любит его: кажется, жить без него не может; а случись дело какое, у кого совета спросят? Не у него, а у Бориса.

— Да, — сказал Серебряный, взглядываясь в Годунова; — теперь припоминаю его. Не ездил ли он у царского саадака?

— Так, князь. Он точно был у саадака. Кажется, должность не знатная, как тут показать себя. Только, случилось раз, затеяли на охоте из лука стрелять. А был тут ханский посол Девлет-Мурза. Тот, что ни пустит стрелу, так и всадит ее в татарскую шляпу, что поставили на шесте, ступеней во сто от царской ставки. Дело то было уже после обеда, и много уже ковшей прошло кругом стола. Вот встал Иван Васильевич, да и говорит: — Подайте мне мой лук, и я не хуже татарина попаду. — А татарин-то обрадовался: — Попади, бачка-царь, говорит: моя пошла тысяча лошадей табун, а твоя что пошла? — то есть, по-нашему, во что ставишь заклад свой. — Идет город Рязань, — сказал царь и повторил: — Подайте мой лук. — Бросился Борис к коновязи, где стоял конь с саадаком, вскочил в седло; только, видим мы, бьется под ним конь, вздымается на дыбы, да вдруг как пустится, закусив удила, так и пропал с Борисом. Через четверть часа вернулся Борис, и колчан и налучье изорваны, лук пополам, стрелы все рассыпались; сам Борис с разбитой головой. Соскочил с коня да и в ноги царю: — Виноват, государь, не смог коня удержать, не соблюл твоего саадака. — А у царя, вишь, меж тем хмель-то уж выходить начал. — Ну, говорит, не быть же боле тебе, неучу, при моем саадаке, а из чужого лука стрелять не стану. — С того дня пошел Борис в гору, да посмотри, князь, куда уйдет еще. И что это за человек, — продолжал боярин, глядя на Годунова: — никогда не суется вперед, а всегда тут; никогда не прямит, не перечит царю, идет себе окольным путем, ни в какое кровавое дело не замешан, ни к чьей казни не причастен. Кругом его кровь так и хлещет, а он себе и чист и бел, как младенец, даже и в опричнину не вписан. Вон тот, — продолжал он, указывая на человека с недоброю улыбкою: — то Алексей Басманов, отец Федора, а там подале, Василий Грязный, а вон там отец Лев-

кий, Чудовской архимандрит, прости ему, Господи, не пастырь он церковный, угодник страстей мирских.

Серебряный слушал с любопытством и горестью.

— Скажи боярин, — спросил он: — кто этот высокий кудрявый, лет тридцати, с черными глазами? Вот он уже четвертый кубок осушил, один за другим, да еще какие кубки. Здоров он пить, нечего сказать, только вино будто ему не на радость. Смотри, как он нахмурился, а глаза-то горят словно молонья. Да что он, с ума сошел. Смотри, как скатерть ножом порет.

— Этого-то, князь, ты, кажись бы, должен знать, этот был из наших. Правда, переменялся он с тех пор, как всему боярству на срам, в опричники пошел. Это князь Афанасий Иванович Вяземский. Он будет всех их удалее, только не вынести ему головы. Как прикачулась к его сердцу зазнобушка, сделался он сам не свой. И не видит ничего, и не слышит, и один с собою разговаривает, словно помешанный, и при царе держит такие речи, что индо страшно. Но до сих пор ему все с рук сходило: жалеет его государь. А говорят, он по любви и в опричники-то вписался.

И боярин нагнулся к Серебряному, желая, вероятно, рассказать ему подробнее про Вяземского, но в это время подошел к ним стольник и сказал, ставя перед Серебряным блюдо жаркого:

— Никита-ста. Великий государь жалует тебя блюдом со своего стола.

Князя встал и, следуя обычаю, низко поклонился царю.

Тогда все, бывшие за одним столом с князем, также встали и поклонились Серебряному, в знак поздравления с царскою милостью. Серебряный должен был каждого отблагодарить особым поклоном.

Между тем стольник возвратился к царю и сказал ему, кланяясь в пояс:

— Великий Государь. Никита-ста принял блюдо, челом бьет.

Когда съели лебедей, слуги вышли попарно из палаты и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом, в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и с сыром, блины всех возможных родов, кривые пирожки и оладьи. Пока гости кушали, слуги разносили ковши и кубки с медами: вишневым, можжевельным и черемховым. Другие подавали разные иностранные вина: романею, рейнское и мушкатель. Особые стольники ходили взад и вперед между рядами, чтобы смотреть и всказывать в столы.

Напротив Серебряного сидел один старый боярин, на которого царь, как поговаривали, держал гнев. Боярин предвидел себе беду, но не знал — какую, и ожидал спокойно своей участи. К удивлению всех, кравчий Федор Басманов из своих рук поднес ему чашу вина.

— Василий су, — сказал Басманов: — великий государь жалует тебя чашею.

Старик встал, поклонился Иоанну и выпил вино, а Басманов, возвратясь к царю, донес ему:

— Василий су выпил чашу, челом бьет.

Все встали и поклонились старику; ожидали себе и его поклона, но боярин стоял неподвижно. Дыхание его сперлось, он дрожал всем телом. Внезапно глаза его налились кровью, лицо посинело, и он грянулся оземь.

— Боярин пьян, — сказал Иван Васильевич: — вынести его вон. — Шепот пробежал по собранию, а земские бояре переглянулись и потупили очи в свои тарелки, не смея вымолвить ни слова.

Серебряный содрогнулся. Еще недавно не верил он рассказам о жестокости Иоанна, теперь же сам сделался свидетелем его ужасной мести.

„Уж не ожидает ли и меня такая же участь“, — подумал он. Между тем, старика вынесли, и обед продолжался, как будто ничего не случилось. Гусли звучали, колокола гудели, царедворцы громко разговаривали и смеялись. Слуги, бывшие в бархатной одежде, явились теперь все в парчевых доломанах. Эта перемена платья составляла одну из роскошей царских обедов. На столы поставили сперва разные студени, потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с инбирем, бескостных кур и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухую подали рябчиков со сливами, гусей с пшеном и тетерек с шафраном.

Тут наступил прогул, в продолжение которого разносили гостям меды: смородинный, княжий и боярский, а из вин: аликант, бастр и мальвазию.

Разговоры становились громче, хохот раздавался чаще, головы кружились. Серебряный, всматриваясь в лица опричников, увидел за отдаленным столом молодого человека, который несколько часов перед тем спас его от медведя. Князь спросил о нем у соседей, но никто из земских не знал его. Молодой опричник, облокотясь на стол и опустив голову на руки, сидел в задумчивости и не участвовал в общем веселье. Князь хотел было обратиться с вопросом к проходившему слуге, но вдруг услышал за собой:

— Никита-ста. Великий государь жалует тебя чашею.

Серебряный вздрогнул. За ним стоял, с наглою усмешкою Федор Басманов и подавал ему чашу.

Не колеблясь ни минуты, князь поклонился царю и осушил чашу до капли. Все смотрели на него с любопытством; он сам ожидал неминуемой смерти и удивлялся, что не чувствует действия отравы. Вместо дрожи и холода, благотворная теплота пробежала по его жилам и разогнала на лице его невольную бледность. Напиток, присланный царем, был старый и чистый бастр. Серебряному

стало ясно, что царь или отпустил вину его, или не знает еще об обиде опричнины.

Уже более четырех часов продолжалось веселье, а стол был только в полустоле. Отличились в этот день царские повара. Никогда так не удавались им лимонные кальи, верченые почки и караси с бараниной. Особенное удивление возбуждали исполинские рыбы, пойманные в Студеном море и присланные в слободу из Соловецкого монастыря. Их привезли живых, в огромных бочках; путешествие продолжалось несколько недель. Рыбы эти едва умещались на серебряных и золотых тазах, которые носили в столовую несколько человек разом. Затейливое искусство поваров выказывалось тут в полном блеске. Осетры и севрюги были так надрезаны, так посажены на блюда, что походили на петухов с простертыми крыльями, на крылатых змиев с разверстыми пастями; Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, и гости, как уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепелов с чесночной подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном. Но вот, по знаку стольников, убрали со столов соль, перец и уксус и сняли все мясные и рыбные яства. Слуги вышли по два в ряд и возвратились в новом убранстве. Они заменили парчовые доломаны летними кунтушами из белого аксамита с серебряным шитьем и собольею опушкой. Эта одежда была еще красивее и богаче двух первых. Убранные таким образом, они внесли в палату сахарный кремль, в пять пудов весу, и поставили его на царский стол. Кремль этот был вылит очень искусно. Зубчатые стены и башни, и даже пешие и конные люди были тщательно отделаны. Подобные кремли, но только поменьше, пуда в три, не более, украсили другие столы. Вслед за кремлями внесли около сотни золоченых и крашенных деревьев, на которых, вместо плодов, висели пряники, коврижки и сладкие пирожки. В то же время явились на столах львы, орлы и всякие птицы, литые из сахара. Между городами и птицами возвышались груды яблоков, ягод и волошских орехов. Но плодов уже никто не трогал, все были сыты. Иные допивали кубки ромanei, более из приличия чем от жажды; другие дремали, облокотясь на стол; многие лежали под лавками; все без исключения распоясались и растегнули кафтаны. Нрав каждого обрисовался яснее.
